

Дочь Твардовского Валентина вспоминала: «В последний год жизни отец часто говорил: «Как закрою глаза, так вижу дорогу — ту самую, обсаженную берёзами, по которой, бывало, едешь с отцом домой на телеге. Ту, от которой после войны ничего уж и не осталось — все деревья порубило снарядами. Только пни». Несмотря на запись в учётной карточке члена КПСС о том, что Твардовский Александр Трифонович «имеет происхождение из кулаков», которое так и не исправили, несмотря на многочисленные обращения поэта во все партийные инстанции вплоть до ЦК КПСС и лично генерального секретаря, сам поэт называл себя отпрыском «трудового крестьянского рода» и корни свои никогда не забывал. Он всегда остро чувствовал связь с родной землёй, с народом, что нашло выражение в его творчестве. Недаром некоторые литературоведы считают Твардовского литературной «реинкарнацией» Некрасова в XX веке — и по стилю, и по глубинным истокам, смыслу поэзии.

Александр Трифонович Твардовский родился 21 июня 1910 года на хуторе Загорье рядом с деревней Сельцо в Смоленской области. Отец Трифон Гордеевич Твардовский был деревенским кузнецом. Мать Мария Митрофановна происходила из семьи мелкопоместных дворян Плескаческих. Она была очень начитанная, поэтичная, чувствительная женщина в противовес отцу — крутому нравом, не чуравшемуся по старой крестьянской традиции воспитывать своих семерых детей поркой и хорошим тумаком. Несмотря на «низкое» происхождение, Трифон Гордеевич поощрял стремление жены с юных лет приучать детей к чтению, сам он тоже интересовался литературой, и длинными, зимними вечерами в доме

Твардовских звучали стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Под впечатлением от этих поэтических вечеров маленький Саша сам стал сочинять стихи, когда ещё и читать толком не умел. Тяжёлым трудом Трифон Гордеевич скопил деньги и приобрёл у обедневшего помещика Нахимова кусок земли, на котором построил хутор. «Земля эта, — десять с небольшим десятин, — вспоминал Твардовский, — вся в мелких болотцах, поросшая ельником, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого



взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему “имению”, как в шутку он называл наш хутор. Сам он всегда ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью, даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до поздней осени. Вообще, многое в нашем быту было “не как у людей”».

С малых лет у всех детей были раз и навсегда определённые отцом обязанности по дому. Так, Саша пас лошадей и помогал отцу

и братьям в кузнице. Уже будучи известным поэтом, он с гордостью говорил, что не понаслышке знает, как звучит «хорошо отбитая коса». «Несмотря на все измышления, в кузнице моего отца никогда не применялся наёмный труд, мы все трудились сами», — писал



Средний сын — Александр Твардовский (крайний справа)

Твардовский после XIX съезда партии в 1952 году, когда было принято решение об обмене партбилетов, секретарю московского горкома Е. А. Фурцевой. Это был ответ на появившиеся в газетах многочисленные статьи недругов поэта, в которых утверждалось, что отец Твардовского, «кулак и эксплуататор нанимал бедняков и не платил им. Тружеников этих работало на кулака до тридцати человек», — утверждал в «Литературной газете» Левин. «Даже принимая во внимание тот факт, что хозяйство моего отца в 1931 году было репрессировано, — писал Твардовский, — было оно не кулацким, а крепким середняцким», — утверждал Твардовский. Однако изменить запись в учётной карточке в графе «происхождение» с кулацкого на крестьянское ему было отказано. «И вот снова предстаёт в памяти эта дорожка, одна из многочисленных, выходящих к нашему хутору, — признавался Твардовский в дневнике. — Как в кино бежит она перед взором моим и всё знакомо вокруг — чуть заметный на болотном месте взгорочек, облупившиеся пни огромных елей. Дорога, заросшая чуть истоптанной травой, вьётся среди кустов, затем опять — взгорочек, и вот она уже становится сухой, посыпанной еловой иглой. А за елями уже видна наша усадьба. Так и в войну частенько представишь эту дорожку, а потом как резанёт — там немцы...»

Революционные потрясения не обошли стороной хутор Трифона Твардовского и его семью. Юный Саша увлёкся идеями построения новой жизни, которые отец никак не принимал, и в 14 лет ушёл из семьи в Смоленск. «Пока была жива бабушка Мария Митрофановна, она рассказывала мне, — вспоминала Валентина Твардовская, — что отцу от деда круто доставалось, житья ему дома не было». В 1926 году в газете «Смоленская деревня» было напечатано первое стихотворение Твардовского «Новая изба», его заметил Михаил Исаковский, работавший в редакции газеты «Рабочий путь» и попросил ещё несколько стихотворений для печати. Одно из них Исаковский послал в Москву поэту Светлову, тот одобрил его и даже напечатал.

Твардовский становится местной знаменитостью, его принимают без экзаменов в Смоленский педагогический институт, что было делом неслыханным, так как у Александра Трифоновича на тот момент было только начальное образование. Но он обещает пройти всю школьную программу за первый курс. В этом ему помогает молодая сотрудница библиотеки Мария Горелова. Твардовский буквально упивается чтением, Мария подбирает ему книги, руководит его образованием. Вскоре они становятся неразлучны и решают жить вместе. Мария Илларионовна Горелова, жена поэта, пройдёт с ним

рука об руку всю жизнь — друг, советчик, надёжная опора. Однако институт Твардовский не закончил. В 1929 году начинается коллективизация. Хозяйство Трифона Гордеевича репрессировано, все родные поэта высланы на поселение за Урал. Твардовский потрясён. Он пытается вступить за семью, добивается приёма у высшего партийного начальника в Смоленске — Румянцева. Тот отечески хлопает юношу по плечу. «Он так веско и невозмутимо заявил мне, что теперь такие времена, что надо выбирать между мамой — папой и революцией, что у меня даже мурашки пошли по телу, — вспоминал Твардовский. — Сам он был расстрелян в тридцать седьмом. Так что преданность революции его не спасла». Сгущаются тучи и над самим Твардовским, начинаются репрессии и среди товарищей по перу. Твардовский и Исаковский вступаются за арестованного критика Македонова². В смоленских газетах сразу же появляются разгромные статьи, касающиеся творчества самого Твардовского. «Сын раскулаченного пришёл в литературу с кулацкими взглядами!», — кричали заголовки. «Его поощряет троцкистско-бухаринское руководство области!» Доносы сыплются один за другим. Так член ВКПб с 1918 года Чикин сигнализировал, что лично видел, «...как к дому Твардовского подъезжала машина, и он уезжал в неизвестном направлении», скорее всего на сходку врагов народа. Только что отпечатанную поэму «Мужичок горбатый» сжигают в редакции на глазах автора. «Они пеклись, чтоб на колени, а если можно — то и к стенке меня поставить поскорее», — написал Твардовский.

Его отчисляют из института. Практически в каждом протоколе допроса по делу смоленских писателей встречается фамилия Твардовского. Твардовского часто упрекали, что он поддался влиянию партийных органов, и, когда его отец и младший брат Павел однажды ночью постучали к нему в квартиру, убежав из ссылки, он их не пустил, посоветовав вернуться туда, откуда они пришли. Но вряд ли в сложившейся на тот момент обстановке Твардовский мог поступить иначе. Твардовский и не отрицал: «Я колебался, сомневался, — признавался он, — но если я и отрекся от них на какой-то момент, за всё расплатился потом сполна, гибелью сына Саши, многими бессонными ночами». «Есть все доказательства того, что готовился арест Твардовского, — рассказывал в одном из интервью Евгений Евтушенко. — Но его предупредили. Это точно. Он успел

² Македонов Адриан Владимирович (1909–1994) — литературный критик, друг Александра Твардовского и Михаила Исаковского. В 1937 году был арестован и осуждён на 8 лет. Срок отбывал в Воркутлаге. Самостоятельно изучив геологию, впоследствии стал крупным учёным-геологом. Прим. ред.

уехать». Осенью 1936 года Твардовский уезжает в Москву. У него прекрасный повод. Его поэма «Страна Муравия» попала в руки самого Сталина и ... понравилась вождю. Твардовский награждён орденом Ленина и выдвинут на Сталинскую премию. Сажать и награждать одновременно — как-то неловко. Дело Твардовского временно закрыли.

Перед тем, как окончательно переехать в Москву Твардовский навещает своих родителей в ссылке. Его мучает раскаяние, к тому же он все ещё не уверен в собственной судьбе. И эта поездка — что-то вроде прощания. Отца и братьев Твардовский не застал, дома была только мать. Но эта встреча стала началом его примирения с семьей.

В Москве Твардовские поселяются в самом центре города, в Большом Могильцевском переулке (на Арбате) — им дают комнату в коммунальной квартире. Окна комнаты располагались так низко, что дочь Валентина, возвращаясь из школы, запросто стучала в окно. Пользуясь своим новым положением, Твардовский хлопочет о возвращении семьи из ссылки, и ему удаётся добиться, чтобы родные снова переехали в Смоленск.

Молодой поэт, чьё творчество отмечено самим Сталиным, поступает в Московский институт философии, литературы и истории, чтобы завершить образование, поступает сразу на третий курс. К тому времени произведения поэта уже включили в школьную программу. Среди писателей ходила байка, что в институте на вступительном экзамене по советской литературе Твардовский вытянул билет с вопросом по своей поэме.

Сокурсники смотрели на него с восхищением и тайной завистью: ещё студент, а уже новенький орден Ленина поблёскивает на пиджаке. «Я помню этот момент, когда он пришёл за мной в детский сад, — рассказывала Валентина Твардовская. — Сразу после награждения. Он весь светился от гордости. “Поцелуй, дочка, папу, — сказал он. — Сталин дал мне орден”. Так он воспринимал тогда эту награду и перелом в своей судьбе. Гордиться было чем — провинциальный поэт награждён в одном ряду с пятью маститыми классиками».

Однако все радости были омрачены страшным событием — в возрасте двух лет от воспаления лёгких умер сын Твардовских Саша. «Мама страшно горевала, отец был подавлен, — вспоминала Валентина Александровна. — Это был какой-то рубеж для него, он вдруг стал смотреть по-иному на всё, что его окружало. Восторженность ушла безвозвратно. Даже за год до смерти, он, сам уже тяжело больной, признавался мне: “Не могу забыть его, не могу”».

Это была незаживающая рана. Он чувствовал свою вину. Словно наказание какое-то, что ли».

Вторым важнейшим событием, в корне изменившим мировоззрение Твардовского и окончательно сформировавшим его как поэта, стала война. «Я навсегда запомнила это утро, 22 июня 1941 года, — говорила в одном из интервью Валентина Твардовская. — Накануне у папы был день рождения. Ему исполнился 31 год. Мы были всей семьёй на даче. Приезжали товарищи из Москвы, поздравляли. Но, несмотря на это, отец как всегда с утра работал. Радио у нас на даче не было. Известие о начале войны принесла я. Я первая услышала от подружек, когда побежала после завтрака гулять. Влетаю в дом: «Папа, война!» — кричу. Они с мамой сначала мне не поверили, мол, что такое говоришь? Затем отец взял пиджак, вышел на улицу, я — за ним. Он прошёл за калитку, и тут увидел несколько местных мужиков, они сидели, молча, на скамейке напротив нашего дома. Все молчали, каждый смотрел себе под ноги. Ни слова. Когда отец вышел, также молча посмотрели на него. Каждый думал свою думу. Кажется, в выражении их лиц было что-то такое, что сразу всё отцу объяснило. Он повернулся и снова вошёл в дом. В тот же день мы срочно вернулись в Москву».

Уже 23 июня 1941 года Твардовский получает предписание. Он назначен литератором газеты Киевского особого округа и должен сразу же отбыть к месту службы. Срок выезда — 24 июня 1941 года. Маршрут Москва — Киев. «Помню тревожно чистое, голубое, с лёгкой дымкой небо над Днепром, — писал позднее Твардовский. — Полдень. Нытьё моторов в пробке у моста, и невозможно куда-либо податься, выскочить в сторону, освободиться. И постоянное ожидание чего-то неизбежного, что обязательно должно произойти. Ты даже чувствуешь облегчение, когда замечаешь в небе приближающиеся чёрные точки. Ты зажат со всех сторон, внизу густая, широкая синева Днепра. И даже ещё не успел сообразить, не успел вскрикнуть — а вот уже полетел к небу столб воды, послышалось «чах!» от разорвавшегося в воде снаряда. Гул самолёта. Движение на мосту медленное, по доскам, настеленным на рельсы, и никуда нельзя деться с этого изнурительного смертельного конвейера».

В 1947 году Твардовский издаст книгу «Родина и чужбина», основанную на воспоминаниях о первых тяжёлых месяцах войны. На него немедленно набросятся критики, назвав его прозу «фальшивой, оскорбляющей память о народном подвиге». «Верно ли увидел писатель войну и народ на войне? — вопрошали они, и тут же сами отвечали на вопрос. — Совершенно ясно — нет. Писатель оказался

бессилен показать подлинную правду жизни. Нет в записках горячего дыхания войны, нет атмосферы народного подвига, красоты и благородства воинов». «Не в письмах рассказывать, Марьюшка, — писал Твардовский с фронта жене, — что довелось мне видеть при совершении нами отступления из Киева. Не все мы вышли из котла. Многие остались в лесах, убитыми, ранеными, многие попали в плен. Кто-то, возможно, ещё жив и ищет пути, чтобы выйти к своим. Очень надеюсь, что товарищи мои, которые были рядом, и с которыми разбросало нас, живы ещё, и доведётся когда-нибудь свидеться. До сих пор люди выходят из Киевского окружения».

«Вдоль развороченных дорог и разорённых сёл, / мы шли по звёздам на восток, товарища я вёл. / Мы шли кустами, шли стернёй. / В канавке где-нибудь / ловили воду пятернёй, / чтоб горло обмакнуть. / Быть может, кто-нибудь иной / расскажет лучше нас, / как горько по земле родной, / идти, в ночи таясь. / Как трудно дух бойца беречь, / чуть что — скрываться в тень. / Чужую, вражью слышать речь / близ русских деревень. / Как зябко спать в сырой копне / в осенний холод, в дождь. / Спиной к спине — и всё ж во сне / дрожать — собачья дрожь. / И каждый шорох, каждый хруст / тревожит твой привал. / Да, я запомнил каждый куст, / что нам приют давал. / Запомнил каждое крыльцо, / куда пришлось ступать. / Запомнил женщин всех в лицо, / как собственную мать. / Они делили с нами хлеб — / пшеничный ли, ржаной. / Они нас выводили в степь дорожкой потайной...»

«Признаюсь тебе, Марьюшка, порой даже стыдно, что в такое время очень много думаешь о себе, о своей персоне. Устал я немного, не так физически, как морально, душевно тяжело. Но не поддаюсь. Сейчас та пора, когда надо показать себя человеком».

В конце 1941 года штаб Юго-Западного фронта и редакция газеты «Красная армия», в которой работал Твардовский, перебазируются в Воронеж, тогда ещё тыловой город. «Сейчас пять дней, как приехал с передовой, — пишет Твардовский жене. — В редакцию не тянет. Тяжело там. А места эти бунинские. Знаю, однако, что как ни тяжело, было бы во сто крат тяжелее, если бы не было тебя и детей. (Вторая дочь Твардовских Ольга родилась в январе 1941 года, за полгода до начала войны). Всё так серьёзно сейчас, Марьюшка, всё так натянута, что думаю я, что люди, которые сэберегут в это время свою нежность и привязанность друг к другу, будут навеки неразлучны. Стихи пишу всё хуже, — признаётся Александр Трифонович, — да и в письмах, сама видишь, не на высоте. От меня хотят бурных всплесков поэзии, оптимизма. А я ненавижу всеми силами души

фальшь и мерзость сегодняшнего газетного стиха. Если до войны я и был способен писать что-то подобное, то сейчас уж нет. Не верю, что всё это нужно и полезно. Требуется писать много, а как — неважно. После некоторых размышлений я решил, что больше плохих стихов писать не буду, пусть что хотят, то со мной и делают. В этом решении я твёрд и уверен в своей правоте. Война — всерьёз, и поэзия должна быть всерьёз».

Решение Твардовского в редакции газеты не одобрили — разгорелся конфликт. Поэта вызвали в Москву для разбирательства. Твардовскому пришлось объясняться, его подвергли критике, зачитали уничижительный отзыв, присланный главным редактором газеты. Затем объявили, что переводят в газету Западного фронта «Красноармейская правда».

Там ситуация оказалась не лучше. «Тошнота подкатывает к горлу, когда я должен писать в каждый номер стишки про какого-то Гришу Танкина, — признавался Твардовский с горечью жене. — Не верю я в эти фельетончики. Хочу писать всерьёз. Скажу тебе первой: на фоне всех этих неприятностей явилась мне мысль спасительная. Я начал писать своего Тёркина. И знаешь, пошло, пошло!». «Когда я начал писать Тёркина, — признавался Твардовский позднее, — я не отдавал себе отчёт, что впрягаюсь в поэму. Это была альтернатива, что-то серьёзное, дельное, как мне казалось».

«Это книга про бойца без начала и конца...»

«На войне в пыли походной, / в летний зной и в холода, / лучше нет простой, природной / из колодца, из пруда, / из трубы водопроводной, / из копытного следа, / из реки, какой угодно — / лучше нет воды холодной, / лишь вода б была, / вода. / Чтоб идти в любую драку, / силу чувствуя в плечах, / бодрость чувствуя, однако, / дело тут не только в щак. / Не прожить как без махорки / от бомбёжки до другой / без хорошей поговорки, / или присказки какой — / без тебя, Василий Тёркин, / Вася Тёркин, мой герой. / А всего иного пуще, / не прожить наверняка — / без чего? Без правды сущей, / правды, прямо в душу бьющей, / да была б она погуще, / как бы ни была горька».

«Я взялся писать, втягивался всё сильнее, и вскоре уже у меня было такое ощущение, что без этой работы мне не жить, не спать, не есть», — записал Твардовский в дневнике.

Летом 1942 года из-за просчётов Верховного командования южное направление осталось неприкрытым. На Воронеж наступала сотысячная группировка немцев с дивизией СС «Великая Германия» в авангарде. Город защищали десять тысяч солдат

Красной армии и ополченцы, которые только накануне боёв получили оружие.

«Никогда не знаешь, что желать, что не желать в личном плане,— писал Твардовский.— Меня прогнали с Юго-Западного фронта, я очень мучился, а может быть, сейчас меня бы уже не было в живых. А теперь немец рвётся к Воронежу...»

«Переправа, переправа, / берег левый, берег правый, / снег шершавый, / кромка льда... / Кому память, кому слава, / кому тёмная вода — / ни приметы, ни следа».

Одно из самых знаменитых своих стихотворений «Я убит подо Ржевом» Твардовский написал под воздействием, казалось бы, совершенно незначительного впечатления. Он ненадолго приехал в Москву по заданию редакции. «Сразу бросилось в глаза, сколько военных в городе, у многих — нашивки за ранения. Еду в трамвае,— рассказывал он позднее.— На передней площадке теснота, очень толкается какой-то штатский. Лейтенант, прижатый к двери, парень с измученным, нервным лицом, не выдерживает. Спрашивает гражданина: “Вот вы, почему с передней площадки?”. Ответ неожиданный: “А я инвалид войны”, — отвечает тот.— Вы?! — возмущается лейтенант.— Я тоже ранен, многие мои товарищи ранены, но мы сражаемся, а вы тут... — Дурак ты! — усмехается штатский.— Дурак?!» Вижу, лейтенант сжал кулаки, готов наброситься на наглеца. Я вмешиваюсь. “Товарищ лейтенант, говорю, спокойно”. “Товарищ подполковник! — Он смотрит на меня с отчаянием, в голосе боль и решимость, может, и слёзы готовы брызнуть из глаз, да нет их, слёз-то. Весь он выкрученный, пересохший. Отвернулся к окну, сказал с горечью.— “Никогда я не приеду в эту вашу Москву”. Когда я стал сходить, он протиснулся ко мне. “Я из подо Ржева,— сказал поспешно.— Приехал хоронить жену. Я завтра должен быть в батальоне. Извините меня, товарищ подполковник”. Это я его должен извинить? Как бы он меня простил. Образ лейтенанта врезался в память».

«Я убит подо Ржевом, / в безымянном болоте, / в пятой роте на левом, / при жестоком налёте. / И во всём этом мире, / до конца его дней — / ни петлички, ни лычки / с гимнастерки моей. / Я, где корни слепые / ищут корма во тьме, / я, где с облаком пыли / ходит рожь на холме, / где травинку к травинке / речка травы прядёт. / Там, куда на поминки / даже мать не придёт».

«Если война не сомнёт меня психически, если я смогу преодолеть её мучительные впечатления, я стану серьёзным автором и смогу послужить Родине,— признавался Твардовский.— За это надо будет платить всю жизнь».

«Мой Василий Тёркин понравился,— замечал он с удивлением, спустя некоторое время.— Разнообразные люди жмут мне руку при встрече, из частей в редакцию газеты приходят письма, где спрашивают, есть ли живой Тёркин, на каком фронте он воюет. Его так любят, что хотят, чтобы он был живым человеком».

Однако литературные «генералы» от Тёркина были вовсе не в восторге, он не вписывался в общий пропагандистский поток. «То и дело следуют придирки, то — не так, тут — поправьте,— жаловался Твардовский.— Трудно писать, всё время думая, как поймут эту строчку, как ту. Всё время сверху спускают замечания, которые просто измучили меня — так тяжело вычёркивать удачные места. Кажется, начальство только и печётся о том, что читателю можно, а что нельзя».

Совершенно неожиданно Твардовский получил отзыв на свою поэму от... И. А. Бунина, который был его литературным кумиром. «Только что прочитал поэму Твардовского “Василий Тёркин”, — писал классик, — не могу удержаться, прошу передать ему при случае, что я восхищён его талантом. Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая меткость, точность во всём».

«Книга эта, «Василий Тёркин», — отвечал Твардовский критикам, — неразрывно связана с ходом войны, она не такая, какие будут написаны потом. Она писалась вместе с войной, исходя из неё и переплетаясь с ней. Я не говорю, что так надо писать, но так писалось, глава за главой — что хотите с ней, то и делайте».

Осенью 1943 года Твардовский с частями, освобождающими его родной Смоленск. «Мне довелось наступать по той самой дороге, по которой в детстве ездил с отцом, — рассказывал он. — Уговорил товарищей заглянуть к нам на хутор. Грустно видеть, что уцелело от войны немного. Деревья посечены снарядами — либо сухой пень безобразный, либо выворот с корневищем и большая воронка. Смотреть, как всё это выглядит после немцев — почти физическая боль. Мальчишки в рванье у дороги. Дал одному сухарей. Он мне ответил «данке шен». Научили...»

Один из подчинённых Твардовского — корреспондент газеты Алексеев — так рассказывал об этой поездке: «Александр Трифонович предложил поехать в его родную деревню. По разбитой дороге на виллисе добрались с трудом. Твардовский всю дорогу был молчалив и задумчив. Как приехали — обомлели. Ни одного дома, только заросшие травой траншеи. Александр Трифонович побледнел. Снял фуражку, стоял безмолвно, потом зашагал по сухой траве».

«Так и не смог найти я в пустынном поле, Марьюшка, — признавался Твардовский в письме жене, — где был наш дом и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мной. Где тот клочок земли, с которым связано всё лучшее, что есть во мне — сама моя поэтическая способность. Это я сам, как личность. Эта связь всегда была дорога для меня. Если так стёрто всё, что отмечало мое пребывание на земле, всё, что как-то выражало меня, я как бы стал свободен и не нужен. Но именно поэтому, я сейчас ощущаю особенно остро, что должен делать своё дело. И никто, кроме меня, не воспроизведёт этого неповторимого, сгинувшего с лица земли, мирка, который исчез. Только теперь я в силах воспроизвести его правдиво».

В конце 1943 года у Твардовского стойкое чувство — перелом позади, война окончательно утратила всяческую романтичность, она превратилась в повседневный, тяжёлый труд. «Люди, которые на войне давно живут, — записывает он, — ведут себя, как и в обычной жизни. Стараются устроиться получше, не позируют, тянут ляжку. Ясно ощущается всеобщая усталость от всего этого. Испытания перешли все нормы и продолжают быть повсюду. Так и хочется крикнуть — хватит! Дайте мне просто небо, без самолётов. Но я знаю совершенно точно, что в жизни мне, если буду я жив и здоров, ни за что не возьмётся, кроме войны, которую я не могу понять до конца».

«Мы нынче в наступлении, Марьюшка. Опять пыль дорог, тревожное гудение моторов у переправы, — пишет он жене весной 1944 года. — Всё, как три года назад, только мы теперь идём на запад и занимаем города. Мы долбим противника и с неба, и с земли, окружаем, обходим его — мы, мы! Но, как и прежде, где бы ни гремело, всё кажется, бомбят рядом, опасаясь и даже дрожишь. Привыкнуть, убеждаюсь, нельзя. Не замечаешь даже перехода одного времени года в другое, запахов, ветра не замечаешь. Ничего не замечаешь, чтобы не связывалось с войной».

«А гимнастёрочка на мне, Марьюшка, такая, — добавляем с юмором, — что из неё сварить что-то можно было бы, наверняка. Насчёт того, чтоб беречься — сама понимаешь, милая, я не в том возрасте и не того характера, чтобы ради проверки нервов лезть туда, куда не надо. Но если надо, родная моя, значит, надо. И все. Я уверен, я всё это выдержу. Хочу выдержать. У меня есть мысль, что я о многом смогу сказать так, как другие не скажут. В этом весь смысл и оправдание моей физической сохранности до сих пор. На всю остальную жизнь мне хватит думать и выражать то почти невыразимое трагическое, чем наполнилась душа за эти годы».

«В тот день, когда окончилась война, / и все стволы падали в счет салюта, / в тот час на торжестве была одна / особая для наших душ минута. / Внушала нам стволов ревущих сталь, / что нам уже не числиться в потерях, / и кроясь дымкой, он уходит вдаль, / заполненный товарищами берег».

За участие в Великой Отечественной войне и написание двух поэм, получивших всенародное признание, «Василий Тёркин» и «Дом у дороги», подполковник Александр Твардовский приказами ВС 3 Белорусского фронта от 31.07. 1944 и 30.04.1945г был награждён Орденами Отечественной войны 2-й и 1-й степени.

После войны деятельность Твардовского неразрывно связана с журналом «Новый мир». Он дважды назначался главным редактором журнала, и дважды был снят по решению самых высоких партийных начальников. Несмотря на то, что многие годы Твардовский был членом КПСС и искренне не представлял себе иного существования, кроме как в рамках советского строя, его поэтический дар, творческое чутьё автора, его природное дарование не укладывались в рамки советской идеологии. Твардовский неизмеримо перерастал отведённое ему пространство, и тогда происходили столкновения, которые в итоге привели к тяжёлой болезни и кончине поэта.

В первый раз Твардовский был назначен главным редактором журнала «Новый мир» ещё при жизни Сталина в 1950 году. На этом посту он сменил Константина Симонова. Между Симоновым и Твардовским никогда не было конкуренции — они с уважением относились друг к другу. Симонов считал лучшим произведением о войне «Василия Тёркина», Твардовский всегда говорил, что лучшее из военных стихов, что он читал — «Жди меня» и «Ты помнишь, Алёша...».

За два года до назначения Твардовский стойко перенёс многочисленные нападки на него, связанные с выходом в 1947 году его книги «Родина и чужбина». Книгу яростно критиковали в Союзе писателей. Произведение Твардовского называли иллюстрацией «ограниченного крестьянского идиотизма». Досталось и «Василию Тёркину». Всеобщее удивление вызвало выступление аспиранта МГУ Архипова, который отважился защищать поэму: «Это произведение — поистине народное, — сказал он громко с трибуны. — Я сам — фронтовик. В 1944 году я участвовал в форсировании реки Свирь вместе с войсками Карельского фронта. Я сам слышал, как солдаты бросались в бой, повторяя “Переправа, переправа...”. Это дорого стоит».

Многие из критиков Твардовского, спустя некоторое время, сами попадут под кампанию по борьбе с безродными космополитами и станут изгоями. Твардовский пригласит их в журнал — зла он не помнил, он всегда был готов к открытой борьбе. Однако в послевоенное время особое значение приобрели аппаратные интриги, и тут Твардовский был куда уязвимее.

Поэт Сурков, главный редактор «Литературной газеты» Рюриков — недоброжелатели Твардовского, — были главными инициаторами травли поэта, которая обрушилась на него в 1954 году после написания им поэмы «Тёркин на том свете». «Какие только предложения не поступали ко мне от читателей, как дальше мне писать о Василии Тёркине, — признавался Твардовский. — Советовали сделать его председателем колхоза после войны или даже хоккеистом».

Однако, оглядывая окружающую его действительность, Твардовский места для Тёркина в ней не нашёл. Василий Тёркин исчез вместе с войной. Он переместился в другой мир. «Поэма эта сатирическая, — отмечал Евгений Евтушенко. — Она высмеивала действительность, ведь по сравнению с тем, что Твардовский видел на войне, все эти аппаратчики и их интересы были мелочны. И они почувствовали это. Команда “фас” была дана».

«Тёркин на том свете» — произведение, воплощающее собой всю ошибочность курса редакции «Нового мира», это пасквиль на советскую реальность, насмешка над народом — победителем», — писала гневно «Правда».

Твардовский пытался сопротивляться. Он писал в ЦК КПСС, обращаясь к Хрущёву, Молотову, Маленкову. Но Н. С. Хрущёв, симпатизировавший Твардовскому, тогда ещё не имел большого влияния, и все усилия по возможному спасению редакции от разгрома оказались напрасными.

«Из “Нового мира” меня уходят, — писал Твардовский своему другу Валентину Овечкину. — Тёркин мой оказывается пасквиль, клеветническая вещь и всё такое прочее. Словом всё сошлось в один раз».

Твардовский всё-таки не оставляет попыток спасти ведущих авторов «Нового мира» и сохранить журнал: он все вину берёт



на себя. Сурков выступает с гневной речью. «Союз писателей и ЦК КПСС долго разъясняли товарищу Твардовскому ошибочность позиции журнала “Новый мир” и идейную вредность поэмы “Тёркин на том свете”, — вещает он. — Однако мы так и не услышали от товарища Твардовского внятной оценки его произведения». Твардовскому пришлось брать ответное слово. «Я не оспариваю решение ЦК, — заявил он с трибуны, — но каждое новое произведение — этап в жизни писателя, он относится к нему как к своему детищу». «Тогда и поступите с этим детищем, как Тарас Бульба обошёлся с сыном, предавшим его, — посоветовал Сурков, — то есть убейте его».

Собрания следовали одно за другим. «Они дожимали отца каждый день, — вспоминала Валентина Александровна. — Он стойко выдерживал. Смело брал вину на себя. Мол, он давал указания авторам, подбирал заголовки для статей, он старался сберечь коллектив. Но это не удалось».

«Деятельность журнала “Новый мир” показала рецидивы чуждого влияния, настроения идейного разброда и даже политической гнилости, проявившиеся в писательской среде, — писала “Литературная газета”. — Появились произведения, искажённо рисующие нашу действительность, — негодовал критик. — Политически вредная поэма “Тёркин на том свете” показывает, что товарищ Твардовский не видит никаких перспектив развития страны, не верит в будущее народа». Твардовский же кратко ответил, что идейный подтекст у его поэмы имеется — это суд народа над бюрократией.

«Всё измучило, измотало, — записал поэт в это время. — Всё не нужно. Раз нельзя изменить ничего, надо делать дело, в нём искать радость. Так и буду поступать».

Осенью 1954 года Твардовский был снят с поста главного редактора, его журнал фактически разгромлен, распущен бережно создаваемый авторский коллектив. Твардовский уединяется на даче, много пишет, обдумывает всё произошедшее. В свободное время работает в саду — у него уникальная коллекция роз, и он занимается их разведением.

Спустя четыре года, когда к власти в стране придёт Н. С. Хрущёв, Твардовский вернётся в журнал. Это будет расцвет «Нового мира». Он станет символом оттепели, символом новой литературы. На его страницах, благодаря Твардовскому, впервые заявят о себе такие талантливые авторы, как Василь Быков, Георгий Бакланов, Сергей Залыгин, Василий Белов. Твардовский первым опубликует повесть никому неизвестного рязанского учителя, бывшего зэка, под

названием «Один день Ивана Денисовича», дав дорогу в литературу Александру Исаевичу Солженицыну.

Хрущёва и Твардовского связывали почти дружеские отношения. Генеральный секретарь принимал известного поэта по первой его просьбе. «Не то, чтоб они были на равных, — вспоминала дочь поэта. — Но их связывало что-то общее, какой-то дух земли что ли».

Хрущёву Твардовский переслал через его помощника Лебедева рукопись «Ивана Денисовича», понимая, что без одобрения сверху опубликовать повесть будет невозможно. Сам Твардовский получил рукопись от редактора с рецензией: «Лагерь глазами мужика. Очень народная вещь». Прочитал за одну ночь, затем осторожно, понимая, что сходу такое произведение не опубликуешь, стал собирать отзывы известных писателей. И, только спустя почти год, решился предложить генеральному секретарю.

Хрущёв читать не любил, любил слушать, когда ему читали помощники. В свободный момент Лебедев прочёл генеральному секретарю «Один день Ивана Денисовича», и тому понравилось — он дал добро на публикацию. «Очень хотелось Никите Сергеевичу забить ещё один гвоздь в гроб сталинизма». Однако единолично в то время такие решения не принимались. Хрущёв собрал заседание Политбюро. По воспоминаниям Валентины Александровны Твардовской на вопрос генерального секретаря: «Ну, что скажете?» — сначала все молчали. Затем Хрущёв распорядился: «Тогда идите, читайте ещё раз». На втором заседании большинство проголосовало за публикацию.

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» увидела свет в 11 номере журнала за 1962 год. Это был взрыв — стотысячный тираж журнала был раскуплен за несколько дней. Вслед за повестью Солженицына Хрущёв разрешил и публикацию многострадальной поэмы Твардовского «Тёркин на том свете». Сначала она была опубликована в «Известиях», а затем в «Новом мире». По поэме был даже поставлен спектакль в театре Сатиры, но выйти эта постановка не успела — оттепель закончилась.

В 1964 году в Кремле произошёл переворот, Хрущёв был смещён со своего поста, к власти в стране пришёл Брежнев. В это время Твардовский публикует поэму «За далью — даль». Константин Симонов высоко отозвался о произведении: «Нельзя не отметить, что в этом произведении Твардовский поднялся на такую поэтическую вершину, что выше и вообразить невозможно», — написал он.

Однако то, что происходило в литературе, Твардовскому не нравилось. Повсюду торжествовала реакция, лучшие писатели и поэты,

«птенцы гнезда “Нового мира”», а также учёные, философы, либо уходили в тень, либо и того хуже, попадали в психиатрические больницы, как друг Твардовского биолог Жорес Медведев. Не лучше обстояло дело и в политике. В 1968 году во время событий в Чехословакии Твардовский возмущённо записал в рабочей тетради: «Что делать мне с тобой, моя присяга, / где взять слова, чтоб написать о том, / как в сорок пятом нас встречала Прага, / и как встречает в шестьдесят восьмом...».

По воспоминаниям сотрудников «Нового мира» давление на журнал оказывалось колоссальное. Так, без ведома главного редактора была практически уволена вся редколлегия, — лучшие, самые близкие к Твардовскому люди, — их заменили откровенными недругами поэта. Твардовский глубоко переживал всё происходящее, срывался, пил, но боролся. «Мама поддерживала его всеми силами, — вспоминала Валентина Александровна. — Следила, чтоб лишний раз не тянулся к бутылке. Но было очень тяжело, это правда».

Понимая, что изменить ничего нельзя, Твардовский подал в отставку. Однако Брежнев отставку не принял. Просто так уволить автора «Василия Тёркина»? Политически это было неправильно. Нужен был повод. И этот повод быстро организовали в КГБ. В начале 1970-го года запрещённая в СССР поэма Твардовского «По праву памяти» была опубликована в Германии в подконтрольном советским органам журнале «Посев». Поэма была посвящена отцу поэта Трифону Гордеевичу и описывала непростые отношения отца и сына. Публикация за границей — что ещё нужно? Брежнев с лёгкостью уволил Твардовского на следующий день, как только стало известно о выходе поэмы за рубежом.

Узнав о решении, Твардовский собрал в кабинете сотрудников, поблагодарил каждого, вместе в последний раз сфотографировались. Затем поздно ночью приехал вместе с женой и дочерью, чтобы забрать вещи. «Помню эту ночь, — рассказывала Валентина Александровна. — В редакции стояла мёртвая тишина. Было жутко, страшно, пусто. К сожалению, он взял тогда немного. Например, оставил все письма, нам так и не удалось их полностью получить потом».

Несмотря на отставку, он был очень популярен, имел огромный общественный вес. Только одного его приезда в психиатрическую клинику, например, хватило, чтобы учёного и диссидента Жореса Медведева немедленно отпустили, и он вернулся к нормальной жизни. Однако Твардовскому это стоило Золотой звезды героя к шестидесятилетию юбилею. Он только усмехнулся. «А я и не знал,



Могила А. Т. Твардовского на Новодевичьем кладбище в Москве.

что у нас героев дают за трусость», — сказал инструктору ЦК КПСС, распекавшему его за необдуманный поступок. В результате обшлись скромным Орденом Трудового Красного знамени.

Два разгрома «Нового мира» и переживания, связанные с этими обстоятельствами, не прошли для Твардовского бесследно. В сентябре 1970 года у него произошел инсульт. Это привело к потере речи, отнялась правая рука — больше он писать и читать свои стихи не мог. Кроме того, при обследовании в больнице выявили запущенный рак лёгкого — всю жизнь Твардовский много курил.

«Когда я в конце октября навестил его на даче, — вспоминал литературовед А. Турков, — он мог сказать только “да” и “нет”, в основном “Да”. Однако, услышав наши споры, произносил он это “да” очень страстно. Мне он напомнил командира из поэмы о Тёркине, который смертельно ранен, но посылает бойцов в атаку. “И пошло в цепи по взводу / — ранен, ранен, командир! / Подбежали. И тогда-то, с тем и будет не забыт, / он привстал — вперёд, ребята, / я не ранен, я убит...”»

18 декабря 1971 года Александр Трифонович Твардовский скончался после тяжёлой болезни у себя на даче в посёлке Красная Пахра Московской области. Через три дня в Центральном доме литератора состоялась гражданская панихида. «К сожалению, когда началась травля отца, — рассказывала Валентина Александровна

позднее, — многие из тех, кому он дал дорогу в литературу, не поддержали его, предпочли отмолчаться. И на прощание тоже многие не пришли — побоялись. Я помню, как пришёл Солженицын. Он вошёл в шубе. Ни на кого не глядя, подошёл к маме, присел рядом с ней. Затем приблизился к гробу, наклонился над отцом, долго смотрел на него, а потом перекрестил и поцеловал в лоб. Это был поступок по тем временам».

Чтобы как-то скрасить неприглядное впечатление о последних годах жизни поэта, функционеры Союза писателей в 1972 году выхлопотали присуждение Твардовскому Государственной премии за книгу «Лирика последних лет», в том числе за стихи, которые он написал на кончину матери в 1965 году. Премию получала Мария Илларионовна Горелова, вдова поэта. Взойдя на трибуну, она не побоялась сказать высокому собранию, что считает эту премию «трусливой и относится с презрением к тем, кто всё это затеял».

Санкт-Петербург